
ЗА КАЖДОЙ ЗВЕЗДОЙ СТОИТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НИКТО НЕ ДОЛЖЕН УВИДЕТЬ
ШОУ-БИЗНЕС 2
ВАЛЕРИЙ ПОЛОЖЕНЦЕВ
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ
18+

Валерий Положенцев

Шоу бизнес. Книга вторая

Серия «Шоу-бизнес», книга 2

https://litres.ru/72794167
SelfPub; 2026

Аннотация

В Советском Союзе существовало три способа разбогатеть: украсть, унаследовать или придумать что-то такое, чего ещё не успели запретить. Герои нашего повествования выбрали четвёртый — они решили торговать музыкой в стране, где музыка принадлежала государству. Это было примерно так же разумно, как открыть частную тюрьму или приватизировать Кремль. Но восьмидесятые годы располагали к авантюрам.

Особенность позднесоветского бизнеса. В стране, где частная собственность была запрещена, а предпринимательство каралось тюрьмой, единственными людьми с опытом негосударственной экономики были цеховики с уголовниками. Это был парадокс системы — она так долго боролась с частной инициативой, что когда инициатива понадобилась, оказалось, что её носителями остались только те, кто законов не соблюдал и раньше. Комсомольцы учились бизнесу у цеховиков, воры учились у комсомольцев управлению, и все вместе учились у иностранцев

воровать по-крупному. Школа была суровая, но выпускники получались качественные.

Содержание

Пролог 5
Глава 1. Два взгляда 12
Глава 2. Подпольный цех 22
Глава 3. Концерт 32
Глава 4. Встреча в Домодедово 43
Глава 5. Храм музыки 58
Глава 6. Режиссёр 66
Глава 7. Наблюдатель 78
Конец ознакомительного фрагмента. 82

Шоу бизнес. Книга вторая

Пролог

или Краткий курс политэкономии для тех, кто опоздал на последний поезд в светлое будущее

Лёд тронулся в марте восемьдесят восьмого – когда диктор Игорь Кириллов, не моргнув своими знаменитыми бровями, сообщил из программы «Время» немыслимое: партия разрешила кооперативы.

Страна замерла у телевизоров – кто-то уронил вилку в тарелку с пельменями, кто-то поперхнулся чаем, а кто-то решил, что ослышался и переспрашивал потом три дня подряд, потому что поверить было невозможно. Не ослышались: семьдесят лет государство объясняло, что частная собственность – зло, спекуляция – преступление, а личное богатство – аморально, если ты не член Политбюро с персональной дачей в Жуковке. И вдруг – здрасьте, пожалуйста, зарабатывайте, легально, с печатью и благословением партии, которая всю жизнь учила, что частная инициатива – кратчайший путь к лагерной вышке.

Это было похоже на объявление в церкви, что Бога временно отменили, но свечки покупать можно – и даже нужно, план по свечкам никто не отменял, а настоятель уже открыл кооператив по производству лампад.

* * *

В Советском Союзе существовало три способа разбогатеть: украсть, унаследовать или придумать что-то такое, чего ещё не успели запретить.

Первый способ – классика жанра, проверенная веками, но и тут имелись нюансы. Социалистическая собственность охранялась строже, чем девственность комсомолки на целине: вынес с завода гайку – выговор, две гайки – товарищеский суд, ящик гаек – восемь лет общего режима. При этом директор того же завода отправлял эшелоны налево и получал ордена – в СССР масштаб решал всё, включая статью уголовного кодекса. Воровать следовало либо по мелочи, чтобы не заметили, либо вагонами, чтобы уважали, а середина была смертельна.

Второй способ – унаследовать – в теории существовал, на практике вызывал горький смех. Три поколения строили коммунизм, и единственное наследство, которое передавалось от отца к сыну, – это очередь на квартиру. Бабушкин сервиз, дедушкины часы «Победа», тётина дача в шесть соток с удобствами во дворе – вот и весь капитал среднего советского человека, и очередь иногда доставалась уже посмертно – родственникам, которые продолжали стоять.

Третий путь – найти щель в системе, пока её не замуровали, и просочиться, пока хозяйка отвернулась. Романтики называли это предпринимательством, прокуроры – спекуляцией; статья 154 УК РСФСР не делала различий между теми и

другими: от двух до семи лет, конфискация имущества, поражение в правах. Дыры, впрочем, находились – система была настолько прохудившейся, что латать не успевали. В одну лазейку пролезала колбаса, в другую – джинсы, в третью – валюта, и главное было не застрять, – застрявших выковыривали с особым усердием.

Герои нашего повествования выбрали четвёртый способ – они решили торговать музыкой в стране, где музыка принадлежала государству так же безраздельно, как недра, леса и души граждан. Это было примерно так же разумно, как открыть частную тюрьму при живом ГУЛАГе, – но восьмидесятые располагали к авантюрам, а здравый смысл в России всегда считался непозволительной роскошью.

* * *

Советский Союз образца восемьдесят восьмого напоминал коммунальную квартиру за час до пожара – все чуяли дым, но никто не знал, откуда тянет. Одни паковали чемоданы на всякий случай, другие прибивали к стенам новые полки – авось обойдётся, – а третьи воровали лампочки в коридоре и продавали их первым по тройной цене, потому что бизнес есть бизнес, даже если слова такого ещё не изобрели.

Лампочки, кстати, были таким же дефицитом, как и всё остальное, включая спички, мыло и туалетную бумагу, которую интеллигенция называла «газетой "Правда"» – единственное, на что эта газета годилась.

Человеку, выросшему при изобилии, трудно понять мас-

штаб советской нехватки – это было не просто «чего-то не хватает», это была религия очереди, вера в то, что где-то за горизонтом терпения лежит оно – заветное, почти мифическое, и если простоять достаточно долго, непременно достанется.

Достать можно было всё – купить ничего. В этом весь Советский Союз: между желанием и обладанием лежало не расстояние, а блат. Колбасу доставали через знакомую в гастрономе, которая откладывала под прилавок, рискуя партбилетом. Книги – через букиниста, торговавшего из-под полы и ценившегося на вес золота. Билеты на поезд – через брата-проводника. Справку от врача – через тётю Зину из регистратуры, которая за коробку конфет признавала здоровым даже покойника. Шины на «Жигули» – через Ашота из автосервиса, но только в обмен на финский унитаз.

Финские унитазы – это была высшая лига, олимп советского блата. За финский унитаз отдавали душу, совесть и квартиру в центре – именно в таком порядке, по возрастанию ценности.

* * *

В этих условиях жуликом поневоле становился каждый: инженер менял электродвигатель на копчёную колбасу, врач выписывал больничный за шоколадку, учитель брал деньги за репетиторство и оглядывался на дверь – не стукнет ли соседка в партком. Вся страна крутилась в одном огромном бартерном колесе, а государство – главный его заводила –

делало вид, что колесо не существует.

Но были те, кто понял нечто большее: в стране победившего социализма единственный по-настоящему ценный товар – сама нехватка. Кто контролирует то, чего нет, – тот владеет всем, а кто умеет создавать иллюзию доступности недоступного – тот царь и бог в государстве очередей.

Таких было немного, и они не афишировали себя – действовали тихо, как сапёры на минном поле, где один неверный шаг означал статью за спекуляцию, а два – за хищение социалистической собственности. Но они шагали и не подрывались, а некоторые даже разбогатели – правда, по советской методе: на Западе сначала зарабатывают, потом садятся, здесь было наоборот, и тюрьма оставалась единственной бизнес-школой, которую страна могла предложить.

Музыка в этой схеме занимала место особое – её нельзя было взвесить, пощупать, спрятать в гараже, и этим она отличалась от джинсов, водки и всего прочего, что можно конфисковать при обыске. Музыка была воздухом – а кто додумается торговать тем, что бесплатно? Додумались немногие. Те, кто слышал не мелодию, а звон монет за ней.

Государственная фирма «Мелодия» штамповала пластинки с песнями о партии и комсомоле, а народ жаждал другого – «Машину времени» и «Кино», «Аквариум» и «ДДТ», Майкла Джексона и «Модерн Токинг», – и не получал. Образовалась пропасть размером со всю шестую часть суши, в которую можно было вбрасывать копейки и вытаскивать со-

стояния, – нужны были только смелость, связи и полное отсутствие уважения к Уголовному кодексу.

Пиратские кассеты появились неизбежно – их штамповали в гаражах и на квартирах, в подсобках магазинов и в красных уголках заводов, ночами, тайно, под шуршание магнитофонных головок. Качество было чудовищным – третья копия с пятой копии звучала так, будто певец исполняет арию, засунув голову в ведро. Но народ покупал, потому что после десятилетий «Песни года» с Кобзоном и Зыкиной даже хрип из ведра казался симфонией свободы.

Пираты стали героями – подпольными, невидимыми, но настоящими. Робин Гудами магнитной ленты, которые воровали у государства и отдавали народу за умеренную плату, – в России даже благородство имеет прейскурант.

* * *

В восемьдесят восьмом случился прорыв – рок-музыка вышла из подполья, не потому что власть подобрела, а потому что растерялась. Пока в Кремле решали, что разрешать, а что запрещать, музыканты захватили стадионы явочным порядком, по праву наглости и отчаяния.

«Перемен требуют наши сердца!» – пел Цой, и страна подпевала, потому что других слов для того, что творилось вокруг, ещё не придумали.

Концерты собирали десятки тысяч, билеты перепродавали с рук втридорога, милиция хватала спекулянтов – и отпускала, потому что спекулянтами были все, включая саму

милицию. Деньги хлынули, словно прорвало плотину советского аскетизма, – кто успел, черпал вёдрами, кто не успел, захлебнулся.

Кто-то должен был эту реку оседлать.

В СССР смельчаков хватало – выжили единицы, остальные удобряют собой лагерные погосты от Магадана до Воркуты, безымянные кресты над безымянными мечтами. Это история тех, кто выжил, – хотя слово «выжил» в России всегда требует оговорки «пока», потому что окончательно выживших тут не бывает, бывают только те, кого ещё не догнали.

Итак, март восемьдесят восьмого: Горбачёв ещё популярен – это ненадолго; Ельцин ещё в опале – это тоже; доллар ещё стоит шестьдесят копеек – но уже качается; Берлинская стена ещё стоит – скоро рухнет; Советский Союз ещё существует – хотя уже сомневается в этом сам.

А пока Кремль решал судьбы мира, в подвале на окраине Ростова-на-Дону уже мигали огоньки кассетных дек, уже пахло канифолью и портвейном, и уже кто-то считал будущую прибыль на клочке газеты «Правда» – хорошая бумага для записей, мягкая, впитывающая, вот только читать её необязательно.

Добро пожаловать в восьмидесятые.

Здесь ещё никто не умер.

Глава 1. Два взгляда

или Почему шампанское и водка не смешиваются

В апреле восемьдесят восьмого Москва пахла тополиными почками и тем особенным возбуждением, которое бывает у человека, когда ему впервые в жизни сказали «можно», но забыли уточнить – что именно. Он стоит посреди улицы с разрешением в одной руке и ужасом в другой, не зная, куда бежать. Кооперативы разрешили в марте, и страна замерла в позе пловца на тумбочке – готовая прыгнуть, но не уверенная, что в бассейне есть вода.

А в Свердловске пахло тем же, чем и в январе: заводской гарью, сернистым газом и тем кисловатым привкусом, который местные давно перестали замечать. Весна на Урале – понятие условное. С крыш капает, под ногами каша, но небо по-прежнему чугунное, низкое, как потолок в бараке.

Между этими двумя запахами тянулся телефонный провод, положенный при Сталине и не чиненный с тех пор, – менять провода в стране, которая меняет генсеков каждые два года, непозволительная роскошь. По этому проводу в полночь два человека говорили о том, что на столе у прокурора называется «дела», а у них самих – делишки. Мелкие и пакостные, из тех, за которые ещё не сажают, но уже присматриваются. Впрочем, прокуратура в восемьдесят восьмом тоже не знала, что можно, а что нельзя, – вдруг завтра опять

всё поменяется.

* * *

Квартира Валеры Положенцева на Котельнической набережной досталась ему таким способом, о котором в приличном обществе не спрашивают, а в неприличном – все и так знают. Сталинская высотка, четыре комнаты, лепнина, паркет ёлочкой – жильё, от которого у нормального советского человека перехватывало дыхание и начинался приступ социальной зависти. Но Валера не был нормальным советским человеком. Он был авантюристом, из тех, кто в любой стране находит щель между законом и возможностью – и протискивается в неё, обдирая бока, но с улыбкой.

Обставлено было по-киношному. Не по-советски и не по-русски, а именно по-киношному, потому что Валера черпал представления о красивой жизни из американских фильмов, которые крутил на видеомагнитофоне из «Берёзки». Ему казалось, что если поставить в комнату колонки «Yamaha», повесить на стену Моне в багетной раме и пить коньяк из хрустального бокала, стоя у окна с видом на ночную Москву, – то жизнь сама подтянется к декорациям, как актёр подтягивается к роли. «Уолл-стрит» он пересмотрел трижды. Вынес оттуда одну фразу Гордона Гекко – «жадность – это хорошо» – и подтяжки, тёмно-синие, шёлковые, которые носил даже дома. Подтяжки дисциплинируют спину и мысли.

На столе – шахматная доска с недоигранной партией, бутылка «Арарата» двадцатилетней выдержки и блокнот в ко-

жаном переплёте, потрёпанный от ежедневного использования. Коньяк, шахматы и блокнот – три инструмента, которыми Валера работал: коньяком смягчал собеседника, шахматами тренировал голову, блокнотом – помнил, кто кому должен. Остальное было декорацией, красивой и ненужной, как Моне рядом с усилителем.

Телефон зазвонил – импортный, кнопочный, с подсветкой, которая в темноте комнаты мигнула голубым и высветила на табло: межгород, Свердловск. Валера не торопился. Снял на четвёртом гудке – привычка из Москонцерта, где он когда-то служил и откуда вынес два убеждения: что нужные люди важнее нужных документов, и что тот, кто хватает трубку первым, показывает нужду. А нужда – слабость. А слабость в Москве не прощают.

– Да.

– Валер, не спишь? – голос Сергея ввалился в тишину квартиры без стука, как он сам обычно вваливался в помещения: шумно, уверенно и с сигаретой в зубах.

– Серёжа. Который час у вас?

– Два ночи по-свердловски. Самое рабочее время – днём все слушают, а ночью можно говорить.

– У тебя паранойя – профессиональное заболевание, как силикоз у шахтёров.

– У шахтёров хоть лёгкие, а у нас – свобода. И то и другое кончается одинаково.

* * *

Сергей звонил с главпочтамта, из кабинки номер семь, – и по этой кабинке можно было прочитать всё, что нужно знать о Свердловске в восемьдесят восьмом, не открывая ни одной газеты. Стены расписаны энциклопедией народной жизни: телефоны девушек нетяжёлого поведения, краткие характеристики перестройки, объявление «Куплю доллары» с номером, зачёркнутым и подписанным «сидит уже», и чей-то философский вопль «Зачем?» – без ответа, потому что ответа не было. На полочке – горка окурков рядом с табличкой «Не курить», и горка была выше таблички.

Сергей стоял, упёршись плечом в стену, – кабинка проектировалась для человека без плеч и без амбиций, а у Сергея было и то и другое. В кулаке – горсть тёплых пятаков, нагретых в кармане: холодные автомат жевал неохотно, выплёвывая через раз, а тёплые глотал покорно, через каждые три минуты отщёлкивая очередную порцию времени.

Если Валера был Гордоном Гекко – московский, с коньяком и видом из окна, – то Сергей годился бы в герои «Лица со шрамом», того куска фильма, где ещё не стреляют, а только считают и прикидывают. Без Майами, без белого песка – вместо пальм Свердловск, вместо особняка подвал с деками, – но азарт тот же, и нахрап тот же. Масштаб пока не голливудский: чифирь вместо виски, «Космос» вместо сигар. Но готовность рисковать всем ради того, чтобы перестать быть никем, – настоящая, не киношная.

– Ладно, к делу, – сказал Сергей, и «к делу» у него зву-

чало, как у хирурга «к операции»: без сантиментов, инструменты готовы, пациент на столе. – Слушай, Валер, я тебе третью неделю говорю, а ты не слышишь. У нас проблема, и она не в деках.

– А в чём?

– В том, что мы продаём. Мы торгуем мертвечиной, Валер. Лоза, Кузьмин, «Весёлые ребята» – это кому? Твоим московским тётушкам, которые на кухне слушают, пока борщ варят? Кузьмин с «Моей любовью» лежит у меня на складе штабелями. Эту кассету даже таксисты не берут – а они берут всё, от Лещенко до «Ласкового мая». Когда таксист отворачивается – товар мёртвый. А «Наутилус» расхватывают при любом звуке, хоть через подушку записывай – берут! На Шувакише вчера двое подрались за последнюю кассету «Князя тишины», менты приехали. Менты, Валер. Из-за кассеты.

– О том, что у вас на Урале нечем заняться, – Валера говорил ровно, потому что давно научился не реагировать на первый натиск Сергея, как не реагируют на первый удар ветра, зная, что за ним будет второй и третий.

– О том, что страна хочет другого! Не Кузьмина, а Бутусова. Не «Мою любовь», а «Скованных одной цепью». Не сладкое, а настоящее. Я по всей стране с продавцами общаюсь, каждый день слышу, что люди просят, вижу, что берут. А ты сидишь в Москве, пьёшь коньяк и думаешь, что знаешь народ. Ты последний раз когда на рынке был? На настоящем,

а не в «Берёзке»?

И вот тут Валера мог бы обидеться. Мог бы повесить трубку, мог бы сказать что-нибудь резкое – и имел бы право, потому что без его московских связей, без его блокнота с номерами администраторов, директоров концертных залов, редакторов на радио – без всего этого Сергей был бы мелким барыгой на рынке, каких тысячи. Но Валера не обиделся, потому что при всех своих кинематографических замашках обладал одним качеством, за которое ему можно было простить всё остальное: он умел слышать. Не слушать – слышать. Разницу понимают только те, кто зарабатывает чутьём на то, что будет завтра, когда вчерашнее ещё не успело сдохнуть.

– Значит, – он заговорил медленно, и Сергей на том конце провода по одному этому «значит» понял, что зацепило, что мяч попал в ворота, – значит, ты хочешь сказать, что Лоза и компания – это прошлое, а рок – это будущее.

– Я хочу сказать, что мы торгуем тем, что москвичи считают модным, а не тем, что люди хотят слушать. Два разных списка, Валер. И между ними – пропасть.

Тишина в проводе. Потрескивание, далёкий гул, чьё-то чужое дыхание – или помехи, кто разберёт на советской линии.

– Допустим, – сказал Валера. – Допустим, ты прав. Допустим, рок – это деньги. Что дальше? Мы и так пишем «Наутилус» и «Чайф». Ты их тиражируешь, продаёшь – в чём

проблема?

– Проблема в том, что я тиражирую на «Маяках» и «Орбитах», которые разваливаются быстрее, чем Витёк успевает чинить. Он паяет круглосуточно – третьи сутки не спал. И каждая пятая кассета – брак. Бутусов звучит так, будто поёт из-под одеяла.

– И?

– И мне нужно другое. Совсем другое. Приезжай.

– Куда?

– Ко мне. Покажу кое-что. Не по телефону.

Валера откинулся в кресле, потёр переносицу – жест, которым он встречал каждую «великую идею» Сергея, а идей этих за полтора года партнёрства набралось на роман-эпопею или на уголовное дело, – смотря кто читает.

– Опять бомба? Помню последнюю, Серёжа. Пугачёва в Нижнем Тагиле – двадцать тысяч убытка и полгода позора. А до неё были автоматы с кассетами в общественных туалетах, которые казались гениальными ровно до вопроса: какой автомат выдержит советский туалет?

– Забудь Пугачёву. Забудь туалеты. Это другой разговор и другие деньги. Приезжай – увидишь. Не увидишь – потом будешь жалеть. А жалеть в этом деле дороже, чем рисковать.

– Неделя. Дай неделю. У меня концерт – Малышев в «России», сборный, я при делах. После слетаю.

– Обещаешь?

– Обещаю, обещаю, – Валера произнёс это тем особенным

московским тоном, которым обещают всё и ничего одновременно, и Сергей этот тон услышал: не прилетит.

– Думай, Валер. Только быстро. Тут кроме нас тоже люди думают – и думают быстрее.

Автомат щёлкнул, проглотил последний пятак и замер. Разговор кончился. Связь оборвалась так же внезапно, как обрывается в этой стране всё: планы, обещания, дружба – на полуслове, без прощания.

* * *

Сергей вышел из кабинки и постоял секунду в пустом зале почтамта. Мраморный пол отражал редкие лампы, гулкий звук шагов уходил под потолок, как уходит дым в трубу. Уборщица в дальнем углу возила шваброй, перемещая лужу от стены к стене с сосредоточенностью человека, который давно перестал задаваться вопросом «зачем».

На улице Свердловск дышал апрельским холодом – обманчивым, как обещания: днём капает с крыш, ночью лужи схватываются ледком и хрустят под подошвой. Зима на Урале не уходит, а только делает вид.

Сергей сел в «шестёрку», закурил, не заводя мотор, и несколько минут сидел так – в тишине, в дыму, – глядя на чёрные окна пятиэтажек. За каждым из них жил человек со своей бедой и своей негромкой мечтой: чтобы завтра было не хуже, чем сегодня. Уральская мечта – без замаха, без полёта. Просто не хуже. И этого хватало, чтобы встать утром и пойти на работу, если работа ещё была.

У Сергея мечта была громче. На проспекте Ленина, в здании, мимо которого он проезжал каждый день, ждало коечто такое, от чего любой москвич забыл бы и шахматы, и коньяк, и своё высокомерие. Но москвич пообещал и забудет. А Сергей не забудет, потому что забывать на Урале не учили. Учили другому: ждать, терпеть и делать своё, когда все вокруг уже бросили.

«Шестёрка» катила по пустым улицам мимо спящих домов, мимо закрытых ларьков, мимо афишной тумбы, на которой под размокшим плакатом «Самоцветов» проступало что-то новое, ещё сырое от клея. Сергей покосился, но не остановился, – то, что он вёз в голове, было интереснее любого плаката.

* * *

В Москве Валера положил трубку медленно, как кладут карту рубашкой вверх – не показывая, что на ней. Коньяк в бокале качнулся от движения руки и замер.

На диване повернулась девушка – Лена, кажется, или Лера, он опять забыл. Впрочем, и она вряд ли помнила, как зовут администратора вчерашнего концерта, который пригласил её выпить шампанского и оказался владельцем четырёх комнат на Котельнической. В Москве восьмидесятых это было аргументом посильнее любого шампанского.

Валера подошёл к окну. Москва лежала внизу в том сытом, ленивом мерцании, которое бывает в городах, живущих за счёт всей остальной страны. Огни плыли в ночном возду-

хе, кремлёвские звёзды горели ровно и равнодушно. Звёздам не было дела ни до кооперативов, ни до кассет, ни до двух авантюристов, которые в полночь спорили о Кузьмине и Бутусове по проводу, проложенному ещё при человеке, чьё имя эти звёзды несли.

Сергей с его бомбами, ракетами и уральским азартом – Валера подумал об этом мельком, как думают о дожде за окном, когда сидишь в тепле. Каждый раз великое открытие, через раз конфуз, и Пугачёва ещё не забылась, и туалетные автоматы тоже. Но голос в трубке десять минут назад был другим – не возбуждённым, а уверенным. А разница между этими двумя вещами примерно такая же, как между мальчишкой, кричащим «волки!», и мужиком, который тихо говорит «за мной следят». Второго слушаешь внимательнее, даже если не веришь.

Валера допил коньяк, поставил бокал рядом с шахматной доской, на которой ферзь стоял в центре под ударом, – и ушёл спать, оставив лампу гореть.

А за окном Москва текла в темноте, тихая и равнодушная, неслышно неся куда-то тех, кто думал, что стоит на месте.

Глава 2. Подпольный цех

или Краткое руководство по превращению магнитной ленты в наличные

На всю страну таких мест было два – в Ростове и в Казани. Оба работали круглосуточно, в три смены, без выходных и праздников, потому что музыка – товар скоропортящийся, как колбаса, только портится быстрее: сегодня хит, завтра макулатура, послезавтра – повод для анекдота. Кто не успел, тот опоздал навсегда, а навсегда в этом бизнесе наступало каждый понедельник.

Подвал дышал – тяжело, густо, с привкусом перегретого железа и подгоревшей пластмассы. Так дышат все места, где много механизмов и мало совести, где люди работают ночами не потому, что любят работу, а потому что днём их работу называют статьёй. Низкие своды, побелка, осыпавшаяся хлопьями на стеллажи, обнажали красную кладку с клеймом «Асмоловъ и Ко, 1913». Табачная империя рассыпалась, Российская империя рассыпалась, советская доживала последние судороги – а кирпичи стояли. Кирпичам до империй дела нет. У них свой срок годности, и он длиннее человеческого.

Вдоль стен, на полках из ворованных досок, гудели сотни кассетных дек – «Маяки», «Орбиты», «Веги», «Орели». Советская техника, надёжная до первой поломки. После пер-

вой Витёк чинил, после третьей – колдовал, а после пятой разбирал на органы для тех, кто ещё дышал. В стране, где запчастей нет, лучший донор – покойник. Рядом, отдельной кастой, стояли японские – «Sony», «Sharp». Мастеровые деки, аристократия среди плебса. С них размножали тираж. Не трогать, не дышать, не курить в радиусе метра – хотя курили все, и Витёк первый, с «Космосом» в зубах даже над паяльником. Японцы терпели. Японцы вообще терпеливые, даже в виде магнитофонов.

Сотни дек мигали огоньками – красными, зелёными, жёлтыми – и этот стрёкот, ровный и непрерывный, заполнял подвал как церковное пение. Только церковь эта молилась не Богу, а рублю, и паства её состояла из людей, которых приличное общество предпочитало не замечать. Пахло адской смесью: горелый пластик, канифоль, машинное масло, сигаретный дым и мужской пот ночной смены. Коктейль, от которого у нормального человека полезли бы слёзы – но нормальных здесь не водилось. Нормальные в три часа ночи спят и видят сны про светлое будущее, которое им обещали с детства. А эти – строили своё, тёмное, подвальное, но настоящее.

Каждая смена отправляла по стране тысячи кассет – в Омск, Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Ташкент. Музыка, которую «Мелодия» не выпускала, радио не крутило, а люди покупали охотнее, чем хлеб. Хлеб насыщает тело. Цой – то, что от тела остаётся, когда телевизор выключен и врать

себе больше не получается.

Но Сергей видел не храм и не фабрику. Он видел деньги. Научился конвертировать вонь в рубли, как алхимик конвертирует свинец в золото – только у алхимика не получалось, а у Сергея получалось, и разница между ними была простая: алхимик верил в чудо, Сергей верил в арифметику. Горелый пластик – брак, минус пятак с кассеты, терпимо. Канифоль – ремонт, Витёк продлевает жизнь деке на месяц, окупается. Пот – работа, работа – прибыль, прибыль – будущее. И пахло это будущее не розами, а плесенью и табаком, но Сергея устраивало. Розы в Свердловске не растут. Зато растут люди, которые умеют обходиться без роз.

* * *

Павел – Пашка-Меломан, двадцать шесть лет, бывший студент-архитектор – сидел за столом упаковочного участка и не упаковывал ровным счётом ничего.

Из института его вышибли за любовь к «Аквариуму» на полной громкости. Можно было бы сказать – за принципы, но какие принципы у человека, который в три часа ночи должен паковать кассеты, а вместо этого мотает головой в наушниках размером с две консервные банки? «Электроника ТДС-7» – советский ответ на вопрос, который никто не задавал: как сделать так, чтобы уши болели, а музыка всё равно звучала паршиво?

В наушниках был Цой. А когда в ушах Цой – руки не работают, голова мотается, пальцы барабанят по столу, и весь

остальной мир перестаёт существовать. Три тысячи неупакованных кассет. Заказчик из Омска. Фура в пять утра. Косой с его арифметикой, где человеческие пальцы – статья расхода. Всё это существовало где-то далеко, за пределами музыки, а внутри музыки был только Цой и его правда, которая казалась важнее любой арифметики.

Молодость – это когда кажется, что правда важнее арифметики. Потом проходит. У некоторых – вместе с пальцами.

Сергей подошёл бесшумно. Он вообще двигался так, что не слышно ни шагов, ни дыхания – только взгляд, цепкий и быстрый, успевал оценить: сколько упаковано, сколько нет, успеют ли к пяти. Лёха ждать не будет, у него график, четверо суток до Омска. А омские заказчики шуток не понимали – не из злости, а из географии: в Сибири шутки замерзают на лету.

– Паш!

Тишина. Пальцы барабанили, голова моталась.

– Павел!

Ноль. Сергей проследил провод до магнитофона – «Весна-212», советская классика, неубиваемая, как таракан, – и одним движением выдернул штекер.

Тишина ударила Павла по ушам. Он подпрыгнул, схватился за грудь, глаза круглые – вырвали из рая прямо в подвал, из музыки в жизнь, из Цоя в Косого.

– Сергей Михалыч! Я думал, инфаркт!

– У тебя вместо сердца «Весна-202». Дешёвая и ненадёж-

ная. Но чинится.

Усмехнулся – без злости, с той симпатией, которую испытывают к людям бесполезным, но обаятельным. Как к дворовой собаке, которая не сторожит и тапки не приносит, зато виляет хвостом так искренне, что выгнать рука не поднимается. Таких в России много. Толку от них никакого, но и зла тоже, а когда зла с избытком, безвредность – уже добродетель.

Взял кассету из магнитофона, глянул на этикетку – «КИНО – Группа крови», фломастером, почерк нервный, с наклоном влево.

– Три месяца одно и то же. Христос бы за это время воскрес.

– Цой и есть Христос! – глаза Павла загорелись тем огнём, который у фанатиков загорается при упоминании святыни. Футбольная команда, рок-группа, учение о мировой революции – симптомы одинаковые: блеск в глазах, дрожь в голосе, полная глухота к чужим аргументам. – Только с гитарой! Вы послушайте: «Я не хочу победы любой ценой…» Это же про нас!

– Христос, говоришь? А Христос бы за ночь три тысячи кассет упаковал? Или проповедями бы занимался, пока апостолы горбатятся?

– Ну… Христос бы их размножил. Как хлеба и рыбу. Чудом.

– Библейская экономика. Вот только омичи не апостолы.

Им чудеса до лампочки. К утру – три тысячи штук. Иначе придётся размножать не кассеты, а синяки. Помнишь Косого?

Павел помнил. Кадык дёрнулся, руки замерли. Косой – два метра, кулаки как кувалды, глаза пустые. Арифметика простая: сделал – хорошо, не сделал – плохо. «Плохо» в его исполнении означало сломанные пальцы и выбитые зубы. Без злости, без удовольствия – просто работа. В России девяностых такая работа называлась «решать вопросы», и решали их люди, которые других слов не знали.

Рука потянулась к кассетам – дрожала. Стопка качнулась и решила упасть. С грохотом рухнула на бетон, кассеты разлетелись веером – чёрные прямоугольники на сером, как карты из колоды шулера, которому изменила удача.

– Чёрт… Простите, Сергей Михалыч!

Сергей поднял одну кассету. Корпус треснул по диагонали.

– Знаешь, что это?

– Кассета?

– Три рубля семьдесят копеек. Чистыми. Были.

Швырнул в ведро – точно, не глядя, как швыряют то, о чём жалеть бессмысленно.

– Давай, шевели руками. Машина в пять.

* * *

Витёк – Виктор Семёнович Прохоров, двадцать восемь лет, бывший инженер «Россельмаша» – не обернулся.

Для него не существовало ни Сергея, ни Павла, ни омских. Существовала плата, контакт, капля олова на кончике жала. Концентрация, от которой белели костяшки и забывалось дыхание. Единственная форма молитвы, которую Витёк признавал, – потому что Бога он не видел, а физику видел каждый день, и физика не врала. В стране, где врали все – от генсека до соседа, – физика оставалась единственной честной сволочью.

– Как пациент, доктор Франкенштейн?

Сергей кивнул на разобранный «Маяк», из которого торчали провода и платы, как кишки из вскрытого живота.

Витёк отложил паяльник, размял пальцы – хрустнули, – закурил, выпустил дым в потолок. Кирпичи Асмолова впитывали никотин семьдесят пять лет и могли бы ещё столько же. Кирпичи терпеливые. Люди – нет.

– При смерти, но в сознании. Конденсаторы текут, резисторы горят, головки размагничиваются через три дня. Не техника – издевательство.

– Реанимируешь?

– А куда денусь.

С Витьком Сергей разговаривал иначе – без нажима, без подколок, без уральского «давай-давай». Потому что Витёк делал то, чего не мог больше никто. Он чинил. В стране, где всё разваливалось – от заводов до семей, от идеологии до водопровода, – человек, который умел чинить, стоил дороже любого начальника. Начальников в России как грязи. А Ви-

тёк – один.

– Головку пересадил с соседнего, который всё равно не жилец. Трансплантация. Одного разобрал – другого собрал, на третьего ещё останется, если повезёт с конденсаторами.

Где-то в глубине хлопнула дверь, кто-то крикнул: «Новосибирск готов, грузите!» – покатилась тележка, заскрипели ящики. Производство, которое официально не существовало, жило своей жизнью. Как живёт всё подпольное в стране, где подполье – единственное место, где можно работать честно. Наверху врут и воруют по закону. Внизу воруют и врут без закона. Разница только в бумажках.

* * *

Четыре пятнадцать. Сорок пять минут до фуры.

Сергей снял куртку, закатал рукава, взял первую кассету. Корпус, целлофан, скотч, этикетка, в коробку. Следующая. Хозяин, который делает руками то, что другие не хотят или не успевают, – в России это не унижение, а необходимость. Унижение – просить. Делать самому – нормально. Сергей эту разницу понимал нутром, тем самым уральским нутром, которое заменяло и диплом, и связи, и родословную. Умеешь – делай. Не умеешь – не мешай. Всё остальное – московские разговоры для московских гостиных.

Павел работал рядом – молча, быстро, напуганный Косым сильнее, чем вдохновлённый Цоем. Руки делали своё, а в голове наверняка крутилось «пожелай мне удачи в бою». Голова и руки у человека в двадцать шесть лет живут в разных

часовых поясах. Это нормально. Это пройдёт – если доживёт до тридцати.

Витёк не участвовал – паял следующего пациента. Мир для него сузился до размеров платы, до одного контакта, до капли олова. Всё остальное было помехой на частоте, которую он давно научился отключать. Счастливый человек. В России таких мало. Большинство слышит все частоты сразу и сходит с ума от шума.

* * *

В пять пришёл Лёха – заспанный, злой, с лицом человека, которого разбудили не для радости. Загрузили молча, быстро, без перекуров. Три тысячи кассет, «Омск» маркером по картону. Рядом грузили Челябинск, ждала Ташкент. Подвал не затихал – в стране, которая хотела музыки больше, чем правды, перерывов не бывает.

Фура ушла в рассвет. Сергей стоял у входа, курил, смотрел вслед. Утренний Ростов пах хлебом от пекарни и акацией от забора – запахи мирные, тёплые, южные. Они мешались с подвальной гарью, которая тянулась из двери за спиной. Хлеб и гарь, юг и копоть, жизнь и делишки – весь запах эпохи, которую потом назовут перестройкой, а тогда называли проще: как-нибудь проживём.

Витёк не вышел – остался внизу, чинить следующего «Маяка». «Маяки» ломались чаще, чем обещания, зато чинились легче. В этом было их преимущество перед людьми.

Павел стоял рядом, щурился на солнце. После ночи в под-

вале свет казался незаслуженным подарком – из тех, что дают просто так, потому что весна и потому что юг. Он думал о том, что где-то в этих коробках его почерк на этикетках, его руки касались каждой кассеты, и частичка его поедет через всю страну. Может, кто-то услышит Цоя и поймёт: можно жить иначе, три аккорда стоят больше трёх томов устава. А может, не поймёт – просто послушает в автобусе, сквозь шум мотора, и забудет к вечеру. И этого тоже достаточно. Музыка работает, даже когда её не слушают как следует.

Сергей докурил, бросил окурок в лужу – та зашипела, приняла подношение, как принимает всё, что в неё бросают, – и пошёл к машине. Через четыре часа ему звонить в Свердловск, через неделю решать с Валерой вопрос, который этот подвал, при всём его масштабе и всех его сотнях дек, не решал и решить не мог. У подвала есть потолок, а у Сергея потолка не было, и в этом заключалась его сила и его беда одновременно – люди без потолка обычно взлетают, но иногда разбиваются, и угадать заранее, что именно случится, не дано никому, даже тем, кто думает, что умеет считать лучше других.

Глава 3. Концерт

или Чему учат в буфете, пока на сцене поют

Зал «Россия» в восемьдесят восьмом году был тем местом, где советская эстрада притворялась, что ей ещё есть куда жить, – огромный, помпезный, с креслами красного бархата, которые помнили задницы членов Политбюро и делегатов партсъездов, а теперь принимали кооператоров в пиджаках с блестящими пуговицами и их спутниц в мехах, добытых способами, которые лучше не обсуждать при детях и прокурорах. Люстры сверкали, занавес отливал золотом, и на сцене сменяли друг друга звёзды – одни восходящие, другие закатывающиеся, третьи давно закатившиеся, но упорно не желающие признавать очевидного, потому что признать очевидное в России – значит признать поражение, а поражений здесь не любят, здесь предпочитают называть их «временными трудностями» и пить за то, чтобы всё наладилось.

Сборный концерт – жанр особый, советское изобретение, порождённое дефицитом всего, включая терпение зрителя и честность организаторов. Публика хотела звёзд, но звёзды стоили дорого, а платить много не позволяла социалистическая мораль – зато позволяла арифметика, которая в СССР всегда была гибче морали: если одна звезда стоит рубль, а концерт должен стоить три, просто поставь трёх звёзд по рублю и назови это «праздником советской песни». Зри-

тель получал калейдоскоп лиц, администратор – процент с каждого, звёзды – возможность не работать полный вечер и успеть на следующую площадку, где их ждал следующий калейдоскоп и следующий процент. Все довольны, кроме искусства, но искусство в СССР давно привыкло, что его мнения не спрашивают, – как не спрашивают мнения лошади о том, куда её везут: в конюшню или на колбасу.

Валера стоял за кулисами – не в первом ряду, где толклись администраторы со стажем и режиссёры с погонами на невидимых плечах, а во втором, где положено стоять тем, кто ещё «при ком-то», ещё не сам по себе, ещё на подхвате. При Эдике. При Смольном. Тридцать один год, амбиций на троих, а места – на полчеловека, и это несоответствие между тем, кем он себя видел, и тем, кем его видели другие, грызло его изнутри, как грызёт крыса деревянную стену – медленно, упорно, не останавливаясь ни на ночь, ни на праздники.

Смольный – Эдуард Михайлович – сидел в первом ряду партера, маленький, подвижный, с лицом человека, который видел всё и удивляться перестал ещё при Хрущёве, когда кукуруза была царицей полей, а он уже крутил концерты на стадионах и понимал, что цари приходят и уходят, а стадионы остаются. Его сажали – он выходил, ему запрещали – он продолжал, и в этом упорстве было что-то от тех кирпичей, которые стояли в ростовском подвале: империи рушились, а кирпичи стояли, и Смольный стоял, потому что остановиться не мог, как не может остановиться сердце, пока человек

жив, а когда остановится – какая уже разница.

На сцене пел Малышев, потом Ротару, потом ещё кто-то – в сборных концертах лица мелькали, как карты в руках шулера, и запоминать их не имело смысла. Важно было другое: зал полный, касса работает, все при деле, и завтра будет то же самое, и послезавтра, пока не кончится то, что казалось вечным, – а вечного в России не бывает, бывает только долгое, и разница между ними обычно выясняется задним числом.

* * *

Буфет зала «Россия» располагался на втором этаже и был тем местом, где решались вопросы, которые на сцене решить невозможно, – не потому что на сцене некогда, а потому что на сцене все смотрят, а в буфете смотрят только те, кому положено, и смотрят правильно: в сторону, в тарелку, в бокал.

Здесь пахло кофе – настоящим, не ячменным суррогатом, – и коньяком, и импортными духами, теми, что в СССР не продавались, а «доставались». Столики маленькие, мраморные, стулья с гнутыми ножками в стиле, который продавцы мебели называли «под Людовика», хотя ни один Людовик на таком стуле сидеть бы не стал – зад не тот. Обстановка, призванная напоминать о Париже, хотя Париж большинство присутствующих видело только на открытках и в снах, которые не сбываются.

За столиками сидели те, кто делал советскую эстраду: директора филармоний, администраторы, редакторы музыкальных программ, – и женщины, много женщин, молодых,

красивых, с причёсками, которые не «Прелестью» фиксируют, а чем-то импортным, пахнущим не химией, а деньгами. Они украшали столики, как цветы в вазах, и функция у них была примерно та же: радовать глаз и не мешать разговору, потому что разговоры в буфете зала «Россия» стоили дороже любых цветов.

Валера сидел с девушкой, которую звали Инна – или Инга, или как-то похоже, он познакомился с ней час назад в фойе и уже забыл имя, потому что имена таких девушек не имели значения, имели значение их глаза, их улыбки, их готовность сидеть, слушать и не задавать лишних вопросов. Она охотно согласилась выпить шампанского: шампанское бесплатное, молодой человек в хорошем костюме с пропуском за кулисы – перспектива, а перспектива в СССР ценилась выше наличности, потому что наличность кончается, а перспектива греет душу до тех пор, пока не выяснится, что она была миражом.

Она говорила о концерте, о Малышеве, о том, какой у него голос, – а Валера слушал вполуха и смотрел поверх её причёски на зал. В буфете зала «Россия» нужные люди водились гуще, чем в любом министерстве, и пропустить нужного человека было бы глупостью, а Валера глупостей старался не делать, хотя, как выяснится позже, делал их не реже других – просто называл иначе.

* * *

Людмила Сергеевна Черникова вошла в буфет так, как

входят люди, привыкшие, что при их появлении разговоры стихают, – не из страха, не из уважения, а из того особого чутья, которое развивается у людей, проживших в системе достаточно долго, чтобы понимать: есть те, при ком лучше молчать, и есть те, при ком лучше не молчать, и перепутать одно с другим – ошибка, которая может стоить карьеры.

Ей было сорок семь, она занимала должность заместителя начальника управления в Министерстве культуры, и должность эта, невзрачная на бумаге, в реальности означала власть – ту тихую, невидимую, но всепроникающую власть, которая в России всегда была сильнее громкой, потому что громкую видно, а тихую – нет, и когда она наносит удар, уже поздно защищаться. Некрасивая – нос слишком длинный, губы слишком тонкие, глаза слишком умные для женщины, которая хочет нравиться, – но она и не хотела нравиться, она хотела решать, и решала уже двадцать лет, без газетных заголовков, без орденов на лацкане, без речей на съездах. Её боялись директора филармоний и заискивали народные артисты, потому что одним её звонком можно было открыть любую дверь, а вторым – закрыть её навсегда, и оба звонка она делала с одинаковым выражением лица: спокойным, деловитым, как у хирурга, который режет не из злости, а из необходимости.

Она остановилась в дверях, обвела буфет взглядом – быстрым, цепким, оценивающим, – и двинулась прямо к столику Валеры, не замечая никого вокруг, потому что замечать

– значит признавать существование, а существование людей, которые ей не нужны, Людмила Сергеевна признавала неохотно.

– Валерий. – Она не поздоровалась, просто констатировала его присутствие тем тоном, которым констатируют наличие стула или пепельницы. – Выйдем, поговорим.

Инна замолчала на полуслове, почуяв опасность тем звериным чутьём, которое у молодых красивых женщин развито лучше любого интеллекта. Валера встал, бросил на неё взгляд – не извиняющийся, деловой: подожди, я скоро, – и пошёл за Людмилой Сергеевной к дальнему столику у окна, туда, где было пусто и тихо, потому что окна выходили во двор, а во дворе смотреть не на что, кроме кирпичной стены и собственного отражения в стекле.

* * *

То, что произошло дальше, Валера запомнил на всю жизнь – не словами, а ощущением, тем особенным ощущением, когда понимаешь, что мир только что сдвинулся, и ты сдвинулся вместе с ним, и обратно уже не будет, даже если очень захочешь.

Людмила Сергеевна села напротив, сложила руки на столе – пальцы длинные, без колец, ногти коротко стрижены, руки человека, который работает, а не позирует, – и заговорила тем ровным голосом, которым говорят вещи, не требующие обсуждения:

– Ты при Эдике почти два года, и за это время научился

организовывать, договариваться, решать – всему тому, чему учатся все, кто хочет выжить в этом болоте. Это хорошо, это необходимо, без этого никуда, – но этого мало, Валерий, этого катастрофически мало для человека, который хочет не просто выжить, а жить.

Она достала сигареты, закурила, выпустила дым в потолок – медленно, со вкусом, как человек, который никуда не торопится, потому что время принадлежит ей, а не она времени.

– Ты живёшь сегодняшним днём и думаешь, что если научишься делать то, что делает Эдик, то станешь Эдиком, – а Эдик, при всём моём к нему уважении, это вчера. Сборные концерты, стадионы, парашютисты над сценой – всё это было при Брежневе, и при Брежневе это работало, и даже при Андропове ещё дышало, но сейчас другое время, Валерий, и оно требует другого.

– Чего? – спросил Валера, и в этом коротком «чего» было всё: и любопытство, и страх, и надежда, и то особое напряжение, которое бывает у человека, стоящего на пороге и не знающего, что за дверью – спасение или пропасть.

– Правильный вопрос, – Людмила Сергеевна затянулась, прищурилась сквозь дым, и в глазах её мелькнуло что-то похожее на одобрение – не тёплое, не дружеское, скорее профессиональное, как у мастера, заметившего искру в ученике. – Администратор при артисте – вымирающий вид, как мамонты, как динозавры, как честные чиновники. Можешь быть лучшим мамонтом в стаде, но ледник придёт и за тобой,

и никакая шерсть не спасёт. Будущее – не обслуживать артистов, Валерий. Будущее – создавать их. Песни, образ, репертуар, продвижение – всё с нуля, всё своё. Артист – это товар, и кто делает товар – тот владеет рынком, а кто продаёт чужой – тот на зарплате до гробовой доски.

Она замолчала, давая словам улечься, и Валера молчал тоже, потому что отвечать было нечего – она говорила правду, ту самую правду, которую он чувствовал, но не мог сформулировать, и теперь, когда её сформулировали за него, она звучала одновременно очевидно и страшно.

– Видишь того человека в пятом ряду? – Людмила Сергеевна кивнула в сторону зала, видневшегося через стеклянную дверь. – Тёмный пиджак, светлые волосы, сидит спокойно, смотрит на сцену.

Валера посмотрел и увидел: молодой, лет двадцать восемь или тридцать, ничем не примечательный на первый взгляд – ни красавец, ни урод, ни звезда, ни обслуга, – но было в нём что-то, какая-то неподвижность, какая-то сосредоточенность, которая выделяла его из толпы, как выделяется камень среди воды: вода течёт, а камень стоит.

– Аркадий Орлов. Запомни это имя, Валерий, оно тебе ещё пригодится. Через пять лет он будет владеть тем, чего сейчас ещё не существует, через десять – всем, что стоит владеть в этой стране. Он не администратор и не артист, он – тот, кто будет делать и администраторов, и артистов, и всё остальное, что можно сделать из воздуха, наглости и

правильного понимания, куда дует ветер.

– Откуда вы знаете? – спросил Валера, и в голосе его было не недоверие, а искреннее любопытство человека, который встретил оракула и хочет понять, как работает пророчество.

– Потому что я в этом министерстве двадцать лет, – Людмила Сергеевна затушила сигарету в пепельнице одним точным движением, – и видела, как приходят и уходят, как взлетают и падают, как обещают и не выполняют. Этот – не уйдёт. У него глаза не те. У него глаза человека, который уже решил и теперь просто ждёт, когда мир подстроится под его решение.

Она встала, не прощаясь, потому что прощаться – тратить время, а время у Людмилы Сергеевны было расписано на годы вперёд, и тратить его на церемонии она не собиралась.

– Эдик тебя любит, он тебя не отпустит просто так. Но Эдик – прошлое. А ты выбираешь, где быть: в прошлом или в будущем. Подумай.

И ушла, и за её спиной разговоры возобновились, как возобновляется движение на дороге, когда проехала машина с мигалкой – все выдохнули, все снова заговорили, но что-то изменилось, воздух стал другим, и Валера это чувствовал, хотя объяснить не мог.

Людмила Сергеевна была из тех женщин, которые не нравятся и не пытаются нравиться, но которых помнят – не внешность, не голос, а слова, и слова эти потом всплывают в самый неожиданный момент, как всплывает в памяти дав-

но забытый урок, когда вдруг понимаешь, что учитель был прав, а ты – дурак, и годы, прошедшие между уроком и пониманием, – потерянные годы, которые уже не вернёшь.

* * *

Валера вернулся к столику, где Инна – или Инга, какая разница – допивала шампанское с выражением женщины, которая понимает, что вечер пошёл не туда, но ещё не решила, стоит ли обижаться или лучше сделать вид, что ничего не заметила.

– Кто это была? – спросила она тем тоном, которым спрашивают о сопернице, хотя какая там соперница – сорок семь лет, нос как у Буратино, губы как ниточки.

– Никто, – сказал Валера, и это была правда в том смысле, в каком бывает правдой молчание: он не соврал, он просто не ответил. – Пойдём, отвезу.

Они вышли через служебный вход в ночные огни, в холод, в равнодушный гул, который не стихает ни днём, ни ночью, – город только притворяется, что спит, а сам караулит, подсчитывает, прикидывает, кого сожрать на завтрак.

Инна говорила – про концерт, про Малышева, про то, как красиво было и как она любит музыку, – а Валера смотрел в окно машины и думал о другом: о тёмном пиджаке и светлых волосах, об Орлове, которого он видел первый и не последний раз, о будущем, которое Людмила Сергеевна нарисовала несколькими словами, – и будущее это было страшным и манящим одновременно, как бывает страшной и манящей

пропасть, в которую можно упасть, а можно перепрыгнуть.

Инна положила голову ему на плечо, и он не заметил – не потому что она была ему безразлична, а потому что мысли его были далеко, там, где решаются судьбы и делаются империи, там, где он ещё не был, но куда уже собирался, сам того не зная.

Москва текла мимо – равнодушная, огромная, полная возможностей для тех, кто умеет их видеть, и ловушек для тех, кто не умеет.

А эта история только начиналась.

Глава 4. Встреча в Домодедово

или Как отличить золото от пустой породы

Аэропорт Домодедово учил покорности – той, что усваивается за семьдесят лет очередей, собраний и пятилеток, и уже не отличается от природы, как горб у верблюда. Рейсы опаздывали, табло врало, объяснений не давали – народ должен верить, как учила партия, как завещал Ленин, как требовала вся эта махина, уже трещавшая по швам, но ещё не понявшая этого.

Зал освещали лампы того жёлтого больничного оттенка, от которого здоровые кажутся больными, а больные – покойниками, и оттенок этот одинаков от роддомов до моргов. Потолки нависали, колонны притворялись мрамором, кресла выцвели до болезненной желтизны – того цвета, каким красили стены поликлиник, цвета усталости, цвета очередей, цвета всей здешней жизни.

В углу, подальше от толпы, сидел Валера.

Газета в руках – «Московские новости», статья о гласности. Можно говорить честно? Но о чём? И кому? И что потом – медаль или срок? Вопросы, на которые никто не знал ответов, а Валера и не искал – он давно понял, что выигрывает не тот, кто говорит правду, а тот, кто знает, когда молчать.

Пальцы постукивали по подлокотнику – нервы, хотя он умел их прятать. Полтора часа ожидания, рейс из Свердлов-

ска задерживался, и Валера думал: может, самолёт развалился – со здешней техникой случается; может, Сергей передумал – уральцы народ упрямый; а может, и арестовали – когда все крутятся, взять могут любого.

Мимо прошла баба с авоськой – в авоське угадывались апельсины, и глаза у неё были волчьи, готовые рвать за эти апельсины горло. Иерархия здесь определялась просто: у кого дефицит – тот и прав. Мужик в мятом пиджаке читал «Правду» – газету с самым ироничным названием в истории человечества. Дети в пионерских галстуках – красное на сером, как кровь на бетоне.

Табло щёлкнуло, буквы перевернулись:

– Рейс 1365 Свердловск – Москва прибыл.

Валера встал, одёрнул пиджак – привычка из комсомольских времён, когда ещё верил, что форма важнее содержания. Теперь знал, что важны только связи, но привычки живучи, как плесень в подвале.

* * *

Толпа пассажиров вывалилась в зал – усталые лица, помятые, серые, с покорностью, впечатанной в черты. Три часа в железной трубе над облаками, и каждый благодарил судьбу, что долетел живым, – приземлившийся самолёт здесь считался чудом, выживший пассажир – везунчиком.

И среди них – Сергей.

Валера увидел его сразу. Не по одежде – одежда стандартная: куртка-ветровка с рынка, джинсы, кроссовки. Увидел

по тому, как он шёл – не шёл, прорывался, ледоколом через торосы, человеком, точно знающим цель, когда вокруг все давно заблудились и смирились.

Глаза горели. Такие глаза Валера видел у картёжников перед последней ставкой – сорвёт банк или останется без штанов. Чаще второе, но иногда, редко, случалось первое, и вот это «иногда» – единственное, ради чего стоило играть.

От Сергея несло Уралом – не географией, а породой. Закалкой городов, где девять месяцев зима, остальные три – плохая погода, где заводы дымят круглосуточно, а небо голубое только на открытках ко Дню металлурга.

– Валера!

Голос хриплый – от самолётного воздуха или от водки, выпитой в полёте для храбрости. Летать здешними самолётами трезвым мог только человек без воображения, а у Сергея воображения хватало на троих.

Подошёл, обнял – крепко, по-уральски, так что рёбра хрустнули и Валера на секунду увидел звёзды, причём не кремлёвские. Объятие медведя, который рад видеть друга, но может случайно задушить от избытка чувств. На Урале это считалось нормой, а кто не выдерживал таких объятий – тот и дружбы не заслуживал.

Москвичи так не обнимаются – москвичи держат дистанцию, жмут руку коротко, сухо, будто боятся подхватить что-то провинциальное: искренность, например, или честность. В столице от этих болезней давно выработался иммунитет.

Москва смотрела на провинцию как на колонию, провинция на Москву – как на врага. Обе были правы. Но Валера стерпел – за годы научился терпеть людей, не умевших себя вести, но умевших делать деньги, а деньги здесь уважали больше этикета.

От Сергея пахло «Шипром» и дешёвыми сигаретами, и тем особенным возбуждением, какое бывает у людей, знающих великую тайну. Или думающих, что знают, – впрочем, разница невелика.

– Выглядишь как банкир, – Сергей оглядел его с ног до головы, оценивая костюм, галстук, ботинки, всю эту московскую упаковку, стоившую больше, чем он зарабатывал за полгода. – Или как депутат нового созыва. Из тех, что за перестройку и гласность. Не хватает только портфеля и значка «Ударник коммунистического труда».

– А ты как всегда – ураганом с Урала, – Валера хмыкнул, поправляя пиджак, помятый медвежьими объятиями. – Смерч. Стихийное бедствие с запахом «Шипра». Садись, рассказывай про свою бомбу. Надеюсь, она стоила полуторачасового ожидания в этом храме авиации.

Сели в угол буфета, подальше от людского потока – в аэропортах лишних ушей больше, чем пассажиров, а КГБ дремал, но не спал, особенно когда пахло деньгами. Новые слова – «кооператив», «хозрасчёт», «предпринимательство» – ещё отдавали статьёй, как свежая краска на старом заборе.

Буфет – памятник общепиту. Стеклянная витрина с бу-

тербродами, лежавшими там, судя по виду, с прошлой пятилетки. Алюминиевые кастрюли с супом – суп пах капустой и безнадёжностью. Буфетчица глядела на посетителей так, будто они лично виноваты во всех её несчастьях, – впрочем, все буфетчицы здесь владели этим взглядом, их учили в специальном техникуме.

Сергей огляделся по сторонам – привычка человека, за которым следят. В Свердловске за всеми следили: менты, бандиты, соседи. Соседи страшнее всех – стучали бесплатно, из любви к искусству.

– Ну? – Валера нетерпеливо постукивал пальцами по столу. – Где бомба? Показывай. Или это опять твои фантазии? Как с концертом Пугачёвой в Нижнем Тагиле?

Год прошёл, а он помнил – деньги, репутацию, нервы. Двадцать тысяч потерял тогда, и простить не мог. Москвичи злопамятные, как слоны, только лучше одеты.

– Забудь про Пугачёву, – Сергей отмахнулся, как отмахиваются от мухи или от прошлого. – Это было давно и неправда. И потом, она почти согласилась. Если бы не её продюсер, этот московский упырь…

– Если бы да кабы…

– Заткнись и слушай, – Сергей наклонился ближе, и Валера почувствовал запах самолётной водки – «Столичная», судя по резкости. – Сначала вопрос. Ты хотел студию? Нормальную, а не подвал? Не гараж, где записываются на кассетник «Электроника» и молятся, чтобы не размагнитилось?

– Допустим, – Валера не менял выражения лица, хотя внутри шевельнулся интерес – маленький, осторожный, как мышь, чующая сыр, но боящаяся ловушки. – И что?

– Я нашёл. Готовую. Укомплектованную. Со всеми потрохами. Как конфетка в обёртке. Как «Мерседес» с завода.

В мире бесплатного сыра Валера давно научился искать мышеловку. Прищурился:

– Где? В каком подвале? Или на чердаке? Или в заброшенном цеху? Знаю я твои находки, Сергей. В прошлый раз ты нашёл «идеальное помещение» – оказался морг при туберкулёзной больнице. Акустика отличная, говорил ты. Соседи тихие.

Морг тот Сергей вспоминал потом с усмешкой – снаружи нормальное здание, внутри холодильники с клиентами, кто ж знал.

– Не подвал. И не чердак. И не морг, – Сергей выдержал театральную паузу, наслаждаясь моментом, потому что умел подавать информацию, умел держать аудиторию, умел продавать ещё до того, как это стало профессией. – Свердловская киностудия. Проспект Ленина, дом 50. Государственная контора. Официально. Со всеми печатями и подписями. С гербом на фасаде.

Валера поперхнулся воздухом – впервые за много лет его застали врасплох.

– Киностудия? Государственная? Ты с ума сошёл? Это же… это же невозможно! Госсобственность! Режимный объ-

ект! Там же охрана, КГБ, первый отдел проверяет каждого!

Киностудия. Государственная. Режим, первый отдел. Он что, хочет их посадить? Или он гений? Но где-то глубже – там, где жил делец, а не скептик – шевельнулось любопытство. Государственная собственность, никому не нужная, – это возможность. А возможностей тогда было много, как грибов после дождя, – вопрос только, как собирать и не отравиться.

– Валера, заткнись и слушай, – Сергей не давал ему додумать страшное. – Просто слушай, не перебивай. Дай мне пять минут. Если не поверишь – пошлёшь меня на три буквы. Или на пять, как принято в столице. Но выслушай!

Придвинулся ещё ближе, понизил голос до заговорщического шёпота, и глаза его блестели, как у революционера, объясняющего план захвата Зимнего – только вместо Зимнего была киностудия, а вместо революции – бизнес, но разница тогда была невелика.

– Я там был. Не один раз – три раза! Неделю вокруг ходил, присматривался, принюхивался. С главным инженером познакомился – Пётр Данилыч, мужик-легенда. Ему под семьдесят, седой как лунь, руки трясутся – но в технике разбирается как бог. Он на этой студии с сорок третьего года, с самого основания. Таких людей больше не делают – форму потеряли. Знаешь, что там стоит?

– Бюст Ленина? – Валера не удержался от сарказма, потому что сарказм был его защитой от мира, постоянно пытав-

шегося его обмануть. – Портрет Горбачёва? Лозунг «Партия – наш рулевой»?

Шутит, значит боится. Москвичи всегда шутили, когда боялись, – а боялись они всего, чего не понимали.

– Смешно. Очень смешно, – Сергей не улыбнулся. – Там оборудование стоит, за которое на Западе почку продают. Может, даже две. И часть печени в придачу.

Начал загибать пальцы – толстые, рабочие, с обломанными ногтями:

– Пульт «Neve». Британский. За один такой в Лондоне платят как за квартиру в центре, и очередь на годы. У нас таких на всю страну несколько штук – на «Мелодии», в Останкино, и вот в Свердловске. Как он туда попал – загадка. Говорят, для съёмок какого-то фильма к Олимпиаде купили, а потом забыли.

«Neve». Если не врёт – сто тысяч на Западе. Здесь – бесценно, потому что не продаётся. Или бесполезно, потому что никто не умеет пользоваться. Но если уметь…

– Серьёзно?

– Это только начало! – Сергей упивался моментом, как актёр на сцене, как продавец, чувствующий, что клиент дозревает. – «Studer» – швейцарские магнитофоны, 24-дорожечные! Швейцарская точность, космическая цена. На Западе группы годами копят на такой. А там их два! Два, понимаешь?!

Ещё пятьдесят тысяч – если работают, если не разворова-

ли на детали.

– Микрофоны – «Neumann», «AKG». Немецкие, австрийские. Легенды! Синтезаторы – «Yamaha DX7», «Roland Jupiter-8». Барабанная установка «Yamaha». Гитарные усилители «Marshall», «Fender». Это не студия – это космодром! Храм звука! Мекка для музыканта!

Двести, триста тысяч – оборудование, какое видели только на картинках в журнале «Америка», на закрытых просмотрах в институтах. И вот оно стоит в Свердловске. Пылится. Невозможно. Хотя… здесь возможно всё.

– И что, всё это просто стоит? – Валера старался не выдать волнения. – Пылится?

– В том-то и фокус! – Сергей чуть не закричал от возбуждения, потом опомнился, огляделся, снова понизил голос. – Там «Сталкера» писали! Тарковского! Музыку к «Солярису»! Эдуард Артемьев лично всё настраивал. Говорят, когда он первый раз это оборудование увидел – чуть не заплакал от счастья. Сказал – это лучше, чем в Голливуде. А теперь – пылится. Кино не снимают. Денег нет, заказов нет, зарплату задерживают по три месяца. Пётр Данилыч чуть не плакал, когда я сказал, что хотим музыку писать. Говорит – оборудование без работы умирает. Как человек без воздуха. Как женщина без любви.

– Поэтично, – Валера скептически хмыкнул, но глаза его уже считали, считали, считали. – И что, просто так сдадут? Государственная собственность, режимный объект. Это же

не ларёк с пивом.

– А кому она нужна, эта собственность? – Сергей показал пустые ладони жестом фокусника. – Всё разваливается, всем плевать. Партия думает, как удержать власть. КГБ – как не потерять лицо. Народ – где взять колбасу. А киностудия в Свердловске? Кому она нужна? Это не «Мосфильм», не «Ленфильм». Это провинция. Задворки империи.

– Сколько? – Валера перешёл к главному, потому что главное – всегда цифры, а всё остальное – лирика.

– Триста рублей в месяц за коммуналку. Электричество, отопление, охрана. Плюс зарплата Петру Данилычу – сто пятьдесят. Он будет числиться техническим директором. Итого – четыреста пятьдесят рублей. В месяц! За студию мирового уровня!

Четыреста пятьдесят рублей за оборудование на полмиллиона. Слишком дёшево. Когда слишком дёшево – жди подвоха, как учила бабушка, пережившая три голода. Или это краденое, или сломанное, или ловушка. Но если не ловушка…

Сергей откинулся на спинку, довольный эффектом, как кот, съевший канарейку:

– Это как купить «Мерседес» по цене «Запорожца». Нет, даже дешевле – по цене велосипеда! По цене детского велосипеда с тремя колёсами!

* * *

Валера задумался. В зале гудела толпа – кто-то ругался

на очередную задержку рейса, кто-то спал на баулах, подложив под голову пальто, дети плакали, требуя есть, старушки грызли семечки, сплёвывая шелуху прямо на пол. Реальность во всей красе – космические корабли бороздят просторы вселенной, а в аэропорту нет туалетной бумаги. Запускают спутники, но не могут накормить народ.

– Свердловск… – он вздохнул, и в этом вздохе была вся московская тоска по цивилизации. – Далековато от Москвы. Три часа лёту. И то если самолёт не развалится по дороге.

Край заводов и лагерей, место, откуда бегут в Москву, а не куда едут из Москвы.

Сергей смотрел на него с той снисходительностью, с какой провинциал смотрит на столичного сноба, думающего, что за МКАДом кончается жизнь. Для Сергея Москва – зоопарк. Красиво, но воняет. И звери за решёткой – только решётка из денег.

– Зато никто не лезет! – сказал вслух, и в голосе звенел азарт человека, нашедшего золотую жилу и не собирающегося делиться. – Менты местные – свои, договорился уже. Начальник РОВД – мужик понятливый, две тысячи в месяц – и мы неприкасаемые. Конкуренты московские не суются – боятся. Урал – это тебе не Арбат. Здесь свои законы, свои понятия. Чужих не любят. Мы там королями будем!

– Короли Свердловска, – Валера фыркнул с тем особым московским презрением, какое провинция ненавидит больше всего. – Звучит как «чемпионы деревни». Или «лучший

повар на кладбище».

Сергей сжал кулаки – чемпионы деревни, значит? А ты, значит, чемпион столицы? С финским костюмом и московским снобизмом? Ничего, время покажет.

– Смейся, смейся! – он не сдержался, голос зазвенел. – А мы сделаем такой звук, что московские обосрутся от зависти! Извини за выражение. Но это правда! С таким оборудованием можно горы свернуть! «Наутилус» уже согласился записываться. Илья Кормильцев – поэт, гений – сказал, что это судьба. Что Урал должен показать настоящий рок. Не подражание Западу, а своё, уральское. Жёсткое, честное, настоящее!

– Много пафоса, Серёга, – Валера поморщился, как от зубной боли.

– Пафоса ровно столько, сколько нужно! – Сергей вскочил, заходил туда-сюда, не в силах усидеть на месте. Несколько человек обернулись, но быстро потеряли интерес – мало ли психов в аэропорту. – Ты не понимаешь – это шанс! Может, единственный в жизни! Создать что-то великое. Не подпольную шарашку, где на коленке клепают пиратские кассеты. А настоящую империю звука! Фабрику хитов! Кузницу звёзд!

– Надо посмотреть, – Валера встал, отряхивая невидимые пылинки. – Своими глазами. Руками пощупать. Убедиться, что это не очередной морг.

– Надо! – Сергей полез во внутренний карман, достал два

билета. – Вот! Завтра утром летим. Рейс в девять двадцать. Я знал, что согласишься. Не мог не согласиться. Это же золотое дно!

Заранее купил. Знал, что Валера клюнет – делец мимо таких цифр не проходит. Самоуверенный паразит. Или просто хорошо его знает. Что хуже.

– Самоуверенный ты паразит, – сказал он вслух, но без злости, почти с уважением.

– Не самоуверенный. Просто знаю тебя как облупленного, – Сергей ухмыльнулся. – Ты же бизнесмен. Настоящий. Из тех, кто чует деньги, как акула кровь. А настоящий бизнесмен не может пройти мимо такого куша. Это же золотая жила! Клондайк! Эльдорадо! Земля обетованная!

Акула. Неплохое сравнение. Акулы выживают миллионы лет, потому что не мечтают – жрут. Не философствуют – плавают. Знают одно: двигайся или умри.

По громкой связи объявили посадку на рейс в Ленинград – голос диктора был усталый и равнодушный, как голос человека, тысячу раз повторявшего одно и то же и давно переставшего вникать в смысл.

Пошли к выходу вместе – два человека, ещё не знавших, что их ждёт, но уже чувствовавших: что-то начинается. Что-то большое. Что-то, что изменит их жизни – к лучшему или к худшему, неизвестно, но изменит точно.

– Знаешь, что я думаю? – Сергей остановился у стеклянных дверей. За стеклом был виден московский вечер – се-

рый, душный, пахнущий выхлопными газами. – Мы сейчас на пороге чего-то великого. Всё меняется. Старое рушится, новое рождается. И мы можем стать частью этого нового. Не винтиками в машине, созданной кем-то другим. А создателями. Творцами новой реальности.

Творцы реальности. Звучит как вывеска кооператива – «Творцы реальности: ремонт судеб, пошив будущего, мелкий опт». Но что если он прав? Что если это и правда шанс – единственный, какой бывает раз в жизни?

– Философ, – сказал Валера вслух. – Творцы реальности… Мы просто два авантюриста, желающих заработать на музыке. Купить дёшево, продать дорого. Капитализм в чистом виде. Только называть нельзя – посадят.

Сергей схватил его за плечо – хватка была железная, уральская, рабочая:

– Нет! Мы больше! Намного больше! Мы – те, кто несёт людям красоту в этой уродливой земле! Музыку в царстве тишины! Свободу в империи рабов! Мечту там, где мечтать разучились!

Верит. Искренне верит – в музыку, в революцию, в великое будущее. Пока верит – будет работать, гореть, пробивать стены. А Валера будет считать и ждать своего часа.

Не верит – думал в это время Сергей, глядя в холодные глаза. – Считает, прикидывает, взвешивает. Пусть считает. Кто-то должен. Я буду гореть, он – считать угли. Вместе справимся. А потом… потом посмотрим, кто кого.

– Ладно, генерал революции, – Валера вздохнул, но в этом вздохе было больше согласия, чем сопротивления. – Завтра летим в твой Свердловск. Посмотрим на это чудо техники. Но учти – если это очередная твоя фантазия, как с Пугачёвой, обратно поедешь в багажном отделении. По частям. В разных чемоданах.

– Договорились! – Сергей просиял так, что, казалось, осветил весь зал ожидания. – Ты не пожалеешь! Клянусь! Это будет начало новой эры!

Договорились. О чём? Он думает – о музыке. Валера думает – о деньгах. Оба думают – о будущем, какое, похоже, у них общее. Пока.

* * *

Вышли на улицу. Московский воздух – загазованный, душный, пахнущий выхлопами и амбициями – ударил в лицо. Где-то вдали садилось солнце, окрашивая смог в грязно-розовый цвет, цвет заката империи, ещё не знавшей, что заканчивается.

– Новая эра… – пробормотал Валера, глядя на закат. – Посмотрим, чья эра это будет. И кто останется в живых, когда она закончится.

Глава 5. Храм музыки

или Экскурсия по кладбищу, где покойники ещё дышат

Свердловская киностудия на проспекте Ленина, 50, встречала гостей так, как встречают в России всё советское наследие – с показной монументальностью снаружи и тихим разложением внутри. Колонны осыпались бетонной крошкой, и никто их не чинил, потому что чинить советское наследие – всё равно что штопать саван: усилия есть, а толку никакого.

Валера стоял у входа, задрав голову и разглядывая фасад с тем выражением, с каким покупатели на барахолке разглядывают товар – прикидывая, сколько стоит и стоит ли вообще. Сергей – рядом, руки в карманах, на лице ухмылка хозяина, который привёл гостя в своё королевство и ждёт восхищения, хотя королевство пока больше похоже на руины.

– Ну? Что я говорил?

– Снаружи – сарай.

– Снаружи – маскировка. Внутри – космос. Пошли.

Сергей толкнул дверь так, как толкают двери в собственном доме, – не стучась, не спрашивая. Три визита за последний месяц сделали его здесь своим. Охранник кивнул, не поднимая головы от газеты.

Пётр Данилыч ждал в вестибюле – шестьдесят восемь лет, седые волосы зачёсаны назад, очки с толстыми линзами, ко-

стюм из тех, что шили при Брежневе и носят до гроба. Увидев Сергея, просиял – так светлеют люди, привыкшие к темноте, когда кто-то включает свет.

– Привёз! – он шагнул навстречу. – А я уж думал – не приедет твой москвич. Думал – посмеялся надо мной, старым дураком…

– Данилыч, когда я врал? – Сергей хлопнул его по плечу. – Знакомься: Валерий Иванович. Деньги.

– Сергей… – Валера поморщился.

– А что? Правда же. Данилыч, показывай товар.

* * *

В вестибюле стояла тишина – настоящая, советская, замешанная на пыли, безденежье и забвении, та тишина, какая бывает в местах, откуда ушли люди, но не ушла память о них, – и на стенах висели фотографии со съёмок, выцветшие, в дешёвых рамках: Тарковский молодой и живой, Балабанов ещё без седины, Хотиненко с волосами, – все те, кто здесь работал и уехал, потому что талант здесь долго не держится, он либо уезжает, либо спивается, либо умирает раньше времени, а чаще – всё вместе.

– Сюда, – Пётр Данилыч повёл их по коридору.

Лампы горели через одну – экономия или разруха, здесь уже не разберёшь, – и эхо шагов отдавалось гулко, как в склепе, где давно никто не молился. Сергей шёл впереди – знал дорогу, знал каждый поворот, и Валера чувствовал себя гостем в чужом доме, что его раздражало, – гостем он быть не

привык, а привык быть хозяином, и эта перемена ролей царапала самолюбие.

Пётр Данилыч толкнул тяжёлую дверь:

– Прошу.

Валера вошёл – и остановился.

Зал был огромным, но не той советской огромностью, когда размер заменяет смысл, а настоящей, продуманной, выстраданной. Потолок уходил вверх на три этажа, стены покрыты акустическими панелями – деревянными, отполированными временем и руками тех, кто здесь работал, – и даже Валера, понимавший в акустике столько же, сколько свинья в апельсинах, почувствовал: здесь что-то живёт, что-то дышит, что-то ждёт. Он сказал «чёрт» – тихо, почти шёпотом, – и шёпот вернулся отовсюду, чистый, ровный, будто зал подхватил его слово и бережно донёс до каждого угла.

В этот момент Валера понял, почему Сергей так упирался, почему не сдавался, почему тащил его через полстраны. Такие места не описывают – их показывают, и когда видишь – понимаешь без слов, а слова только мешают, как мешают они всегда, когда речь идёт о настоящем.

– Акустика, – Пётр Данилыч позволил себе улыбку. – Артемьев настраивал три месяца.

Сергей уже стоял у пульта – руки на консоли, поза собственника.

– Иди сюда. Смотри.

Валера подошёл. Провёл рукой по поверхности – холод-

ная, гладкая, настоящая, и под пальцами он чувствовал не металл и не пластик, а историю, застывшую в кнопках и фейдерах, историю музыки, которая здесь рождалась и умирала, и снова рождалась, потому что музыка – единственное, что в России умирает не до конца. Двадцать четыре канала, сотни регуляторов, индикаторы, которые когда-то мигали зелёным и красным, показывая уровни звука, – всё это молчало, ждало, надеялось.

Пыль лежала тонким слоем – Данилыч протирал, но пыль упрямее людей, она всегда возвращается, как возвращается всё плохое, а хорошее уходит и не оглядывается.

– В Москве такой нет, – сказал Сергей. – Ни на «Мелодии», ни в Останкино. Только здесь.

– Почему?

– Потому что забыли. Привезли, поставили, сняли кино – и забыли. А теперь – наше.

Пётр Данилыч подвёл их к шкафу со стеклянными дверцами. Открыл – там лежали микрофоны, в бархатных ложементах.

– «Neumann», – сказал он. – Три штуки. Тарковский выбирал.

Валера смотрел на микрофоны, на пульт, на стены – и считал. Считать он умел лучше, чем чувствовать, – этому научила Москва, где чувства – роскошь, а арифметика – необходимость. Оборудование тянуло на сотни тысяч, аренда – копейки, инженер прилагался бесплатно, как бонус к покуп-

ке, которую никто не хотел делать, риски стандартные для страны, где любой бизнес – риск, а доходность обещала быть такой, что даже московские скептики прикусили бы языки.

– Магнитофоны? – спросил он.

– В соседней комнате, – Сергей кивнул. – Два «Studer». Работают.

– Покажи.

Они прошли дальше, в комнату, где стояли магнитофоны – два «Studer», хромированные, массивные, похожие на саркофаги из будущего, которое в этой стране так и не наступило. Пётр Данилыч погладил корпус, как гладят живое существо, как гладят кота или собаку, которые не предают, в отличие от людей.

– Включаю раз в неделю. Разговариваю с ними. Иначе умрут.

Валера обернулся к Сергею:

– Сколько?

– Говорил же. Триста за коммуналку, двести Данилычу.

– Пятьсот в месяц за всё это?

– За всё это.

Валера помолчал: цифры не складывались – слишком дёшево, слишком хорошо, слишком гладко, а когда всё идёт слишком гладко, жди подвоха, как ждут дождя после затяжной жары.

– В чём подвох?

– Подвох в том, что никому не нужно. Кино не снимают,

денег нет, директор в Москве выбивает финансирование и не выбьет. А Данилыч тут сидит и ждёт, пока всё развалится. Мы – его последний шанс. И наш тоже.

Пётр Данилыч смотрел на них – переводил взгляд с одного на другого, как смотрят на судей, которые решают твою судьбу.

– Я думал, помру – так и не услышу музыки в этих стенах, – сказал он тихо.

– Не помрёте, Данилыч, – Сергей улыбнулся. – Мы тут такое устроим, что вся страна услышит.

* * *

Они ещё полчаса бродили по студии – Сергей показывал, Данилыч рассказывал, Валера слушал и считал, – и везде было то же самое: пыль на легендарном, тишина в великом, забвение посреди сокровища. И люди наконец пришли, хотя пришли они не ради искусства, а ради денег, но разница эта давно стёрлась, как стёрлись надписи на старых могилах, и кто их ещё помнит – тот, наверное, идеалист или дурак, а идеалистов здесь расстреливали первыми, дураков – вторыми.

Вышли на улицу, и Свердловск дохнул им в лицо тем, чем дышал всегда, – серой, железом и чужой усталостью, которую местные давно перестали замечать, а приезжие принимали за конец света – и были недалеки от истины.

Сергей закурил, прищурился на серое небо – небо отвечало тем же равнодушием, каким отвечает Урал на все чело-

веческие затеи: хотите строить – стройте, хотите разрушать – разрушайте, мне всё равно, я здесь был до вас и останусь после.

– Ну? – спросил он. – Что скажешь?

Валера молчал. Смотрел на здание – колонны в трещинах, герб с отбитым колоском, окна, половина которых заколочена фанерой. Снаружи – руина империи, одна из тысяч, разбросанных по стране от Бреста до Владивостока. А внутри – сокровище, о котором империя забыла, как забывает пьяница, куда спрятал заначку: просыпается, шарит по карманам, а деньги лежат под матрасом и ждут того, кто додумается поднять, – и вот они додумались, двое из тех, кто умеет искать там, где другие не смотрят.

– Скажу, что ты не соврал.

– Я никогда не вру, – Сергей выпустил дым. – Преувеличиваю – да. Вру – нет. Врать – расточительство. Враньё надо помнить, а память лучше тратить на полезное.

– Когда начинаем?

– Завтра. «Наутилус» ждёт. Кормильцев тексты дописывает. Бутусов нервничает – он всегда нервничает, это его способ дышать. Осталось записать.

Валера кивнул, и в этом кивке было всё – и решение, и риск, и понимание, что назад дороги нет, потому что назад в России вообще дороги нет, есть только вперёд, в туман, в неизвестность, в будущее, которое здесь никогда не бывает таким, каким его планируют, но иногда, очень редко, бывает

лучше.

– Тогда завтра.

А Пётр Данилыч стоял у окна своей комнатки – восемь квадратных метров при студии, раскладушка, электроплитка, портрет Тарковского на стене, вырезанный из журнала «Советский экран» ещё в семьдесят девятом, – смотрел им вслед и плакал, не от радости, не от горя, а от того странного чувства, которое бывает у стариков, когда они понимают, что дождались чего-то, чего уже не ждали. Может, и обманут эти двое, может, и разворуют всё, что можно разворовать, может, через месяц забудут про него, как забыли все остальные, – но сегодня они пришли, посмотрели, пообещали, и пульт «Neve» снова кто-то погладил, и магнитофоны «Studer» снова кто-то похвалил, а для старика, который двадцать лет разговаривал с мёртвой техникой, это уже много, это уже почти жизнь.

В России обещания – почти надежда. А надежда здесь единственное, что ничего не стоит и стоит всего.

Глава 6. Режиссёр

или Коридор, в котором всё начинается и ничего не кончается

Коридор второго этажа Свердловской киностудии растянулся как кишка – длинный, узкий, извилистый, с облупившейся зелёной краской на стенах. Масляная краска советского образца – ядовито-зелёная внизу, грязно-белая вверху, граница на уровне плеча. Практично и уродливо, как всё, что строили для вечности, а вышло на семьдесят лет.

Пахло старой плёнкой и проявителем – химия, въевшаяся в стены за тридцать лет. На стенах висели чёрно-белые фотографии – забытые актёры, режиссёры с мегафонами, кадры из фильмов, которые никто уже не помнит. Студия снимала агитки про передовиков и документалки про достижения уральской промышленности – падение от искусства к ремеслу, от полёта к ползанию.

Валера курил у окна, наблюдая за суетой съёмочного дня. После ночной записи не спал – глаза резало, будто под веки насыпали песок. Но спать было некогда, нужно было договориться с директором об аренде монтажной для клипов. Новое слово – «клип». В Москве уже снимали, в Ленинграде тоже. А Свердловск отставал, как всегда.

Директор, товарищ Плотников, опаздывал – сказали, на совещании в обкоме. Вечное совещание, которое длится с

1917 года и никак не может закончиться.

Мимо пронеслась съёмочная группа – человек десять, как отряд на задании. Только вместо автоматов камеры и микрофоны. Армия кино, потрёпанная, но не сдающаяся.

Впереди – молодой режиссёр. Невысокий, худой до прозрачности, кости проступали сквозь кожу. Растянутая тельняшка с дыркой на локте, стоптанные кеды. Одет как бомж, но глаза горели тем огнём, который бывает у безумцев и гениев – у Тарковского были такие глаза, у Германа, у тех, кто видит мир не таким, какой он есть. В советской стране за такие глаза можно было загреметь в психушку или стать великим – третьего не дано.

– Нет, нет и ещё раз нет! – он орал на оператора, размахивая руками как ветряная мельница. – Камера должна быть НИЖЕ! На уровне глаз героя! Мы должны видеть мир его глазами! Ты что, Тарковского не смотрел?!

Голос срывался на фальцет. Вены на шее вздулись. Режиссёрская истерика – профессиональное заболевание.

– Алексей, это технически сложно… – оператор, мужик лет пятидесяти с брюхом, пытался возразить.

Василий Кротов, заслуженный деятель искусств. Снял сорок фильмов, из них два показывали в Каннах. В молодости был талантливым, теперь – уставший мужик, мечтающий о пенсии и даче в Сысерти, где можно выращивать помидоры и забыть про кино.

– Технически? ТЕХНИЧЕСКИ?! – молодой режиссёр

взорвался. – Знаешь, что технически сложно? Снять хорошее кино в этой проклятой стране! Где нет плёнки, нет денег, нет нормальных актёров! А камеру опустить – это элементарно! На колени встань, если штатив не гнётся!

Такие долго не живут – сгорают, как спички на ветру, и пепел их развеивается по коридорам студий, которые они так и не успели прославить.

Оператор что-то пробурчал про молодых выскочек и ушёл, хлопнув дверью. Где-то наверху что-то упало – наверное, очередной портрет Горбачёва, они падали сами собой в последнее время, будто чувствовали.

Режиссёр остался стоять посреди коридора, тяжело дыша. Грудь ходила ходуном, на лбу выступил пот, хотя в коридоре было холодно – отопление летом не работало.

Валера подошёл – медленно, осторожно, как подходят к незнакомой собаке:

– Тяжело с оператором старой школы?

Режиссёр обернулся резко. Смерил Валеру взглядом – быстрым, цепким, сканирующим. Увидел: москвич, костюм приличный, часы хорошие, сигареты импортные. Чужак.

– А вы кто?

В Свердловске к москвичам относились как к оккупантам – приехали, нахватали, уехали. История повторялась веками.

– Валерий Положенцев. Мы вроде как коллеги теперь. Соседи по студии. «Серебряный диск».

– А, музыкальный делец, – в голосе прозвучало не то пре-

зрение, не то интерес.

Киношники старой школы считали музыку развлечением, а кино – искусством. Молодые уже понимали, что без музыки кино мертво, но признавать это вслух было унизительно.

– Слышал про вас. Москвич, который окопался на Урале. Зачем? В Москве тесно стало?

Вопрос с подвохом – если скажет «да», значит неудачник, которого выдавили, если «нет» – авантюрист, приехавший грабить провинцию.

– В Москве душно. А здесь – простор для творчества.

Дипломатичный ответ. И Москву не обидел, и Урал похвалил. Искусство баланса – Валера владел им в совершенстве, и за это его потом будут ненавидеть, хотя сам он об этом пока не догадывался.

– Творчества… – режиссёр скривился.

Усмешка горькая. Творчество в Свердловске – оксюморон.

– Я Алексей Балабанов. Снимаю тут… пытаюсь снимать.

Пожали руки. У Балабанова рукопожатие было неожиданно крепким для такого субтильного человека – жилистая рука того, кто привык держаться за своё.

– Видел вашу короткометражку. «Раньше было другое время».

Это была правда – Валера посмотрел фильм в Доме кино на Васильевской. Странное кино – про каратиста, который проигрывает девушку в карты. Абсурд, но талантливый.

Балабанов оживился. Глаза заблестели по-другому – не злостью, а радостью. Редкая радость художника, которого заметили:

– Да? И как?

– Мощно. Особенно сцена, где каратист девушку в карты проигрывает. Это же безумие какое-то! Гениальное безумие!

* * *

Из-за угла вывернул Сергей – как всегда, внезапно, шумно, заполняя собой всё пространство. Запыхавшийся, с горящими глазами, рубашка насквозь мокрая от пота. Бежал через всю студию:

– Валера, ты где пропал? Я тебя везде… О, Лёша!

Переход от паники к радости за секунду – эмоциональные качели, фирменный стиль Сергея, и в этом была его сила и его слабость, потому что люди, не умеющие притворяться, долго не выживают.

– Серёга! – Балабанов улыбнулся впервые за разговор.

Улыбка преобразила его лицо – из мрачного визионера превратился в обычного уральского парня.

– Живой, паразит!

Обнялись по-мужски, с похлопыванием по спине. Старые друзья, прошедшие огонь и воду – или хотя бы Свердловск, что почти одно и то же.

– Это моя история, между прочим! – Сергей ткнул пальцем в Балабанова, обращаясь к Валере. – Про каратиста и карты! Я ему рассказывал!

Гордость в голосе – моя история в кино! Пусть короткометражном, пусть никто не увидит, но моя! И в этой наивной гордости было что-то от ребёнка, который ещё не понял, что истории ему не принадлежат.

– Твоя история? – Валера удивлённо посмотрел на партнёра. – Ты девушку в карты проигрывал?

Знал Сергея как облупленного, но это было что-то новое.

– Не проигрывал. Но тёща всегда грозилась: «Проиграешь мою дочку в карты, паразит!» – Сергей передразнил женский голос.

Получилось удивительно точно – и интонация, и злость, и уральское оканье.

– А я думаю – а почему бы и нет? Если карта ляжет удачно… Жена – это же не собственность, а обуза. Можно и разыграть.

Все засмеялись. Смех прокатился по коридору, отразился от стен, вернулся эхом. Хороший смех в плохом месте – как цветок на помойке.

Балабанов достал сигареты, закурил:

– Вот! Из таких историй кино и растёт. Из грязи, из безумия, из русской тоски. Из всего того, что на Западе назвали бы патологией, а у нас – обычная жизнь.

Дым заполнил пространство между ними – серый, едкий.

– Музыка важна в кино? – поинтересовался Валера. – Вы же «Наутилус» использовали?

В короткометражке звучала «Князь тишины» – идеально

легла на видеоряд, будто писали специально для фильма.

– «Наутилус» – это не музыка, – Балабанов затянулся, выпустил дым через нос. – Это диагноз эпохи. Без них фильм – просто картинка. С ними – рентген души. Обнажённый нерв времени.

Для него музыка была не саундтреком – это была кровь фильма. Без крови – труп.

– Лёша, мы их как раз сейчас пишем! – встрял Сергей. – Новый альбом! Хочешь послушать?

Глаза горели энтузиазмом – Сергей обожал сводить людей, особенно талантливых, это было как химический эксперимент: смешать два реактива и смотреть, что получится.

– Серьёзно? – Балабанов загорелся. – Конечно хочу! Бутусов – это же гений! Мрачный гений, но гений! А Кормильцев – поэт от Бога! Или от дьявола, что в нашей стране одно и то же!

Режиссёр, минуту назад оравший на оператора, превратился в мальчишку за кулисами цирка.

– Пошли в студию! – Сергей потащил их по коридору. – Они там как раз зависают! Третий день не вылезают!

Шли по лабиринту коридоров – километры дверей, сотни судеб, и большинство из них сломанные.

Балабанов говорил на ходу, размахивая сигаретой. Пепел сыпался на пол, но никто не замечал – здесь всё было засыпано пеплом, от сигарет, от времени, от несбывшихся надежд:

– Знаете, что самое поганое в нашем кино? Враньё. Все

врут – про светлое будущее, про счастливую жизнь, про добрых людей. А люди не добрые. Люди – звери. Особенно русские люди. Мы можем быть святыми, но чаще – звери.

– Пессимист вы, Алексей.

– Реалист. Следующий фильм в планах?

Балабанов остановился у окна. Посмотрел на промышленный пейзаж – трубы заводов дымили даже в выходные. Город-завод никогда не спал. Только умирал – медленно, день за днём.

– Есть идея. Про братьев. Один – интеллигент. Читает книжки, слушает классику, верит в добро. Другой – урка. Убийца. Но честный убийца – убивает только тех, кто заслужил. И как судьба их сталкивает, меняет, ломает. И в конце – только один остаётся.

Говорил медленно, словно видел этот фильм перед глазами – кадр за кадром, сцена за сценой.

– Прям про нас с Валерой! – захохотал Сергей. – Он – московская штучка, весь из себя культурный! Я – уральский дикарь!

Смех был громкий, но не весёлый – в нём слышалась горечь человека, который знает своё место. Провинциал при столичном. Младший брат. Вечно второй. И сердце сжималось от этого смеха, потому что Сергей заслуживал лучшего, но лучшего в этой стране не бывает.

– Очень смешно, – сухо отметил Валера.

Но задело. Потому что было правдой – он смотрел на Сер-

гея сверху вниз. Полезный человек, который знает местные правила. Но не равный. Никогда не равный.

– А что, интересная динамика, – Балабанов внимательно посмотрел на них. – Инь и ян российского бизнеса. Мозги и кулаки. Цивилизация и варварство. Причём непонятно, что лучше. Мозги без кулаков – это импотенция. Кулаки без мозгов – это смерть.

Сказано точно. Как диагноз. Как приговор.

– У меня тоже мозги есть! – обиделся Сергей.

Детская обида – хочу быть как большие, хочу, чтобы уважали! Но мозги у него другие, не московские – уральские мозги, заточенные на выживание, а не на культуру.

– Где? Покажи, – парировал Валера.

Сказано весело, но веселье ядовитое. Москва всегда так улыбалась провинции – снисходительно.

– Отличный диалог, – Балабанов достал блокнот, потрёпанный, в чёрной обложке.

Быстро записал:

– Украду для сценария. Спасибо за материал.

* * *

Дошли до студии. Массивная дверь, обитая дерматином. За дверью слышались гитарные переборы – «Наутилус» репетировал.

Балабанов остановился, положил руку на ручку, но не открывал:

– Знаете, у меня ощущение, что мы стоим на пороге че-

го-то важного. Страна меняется. Старое умирает, новое рождается. И мы – повитухи этого нового. Вы – через музыку, я – через кино.

– Громко сказано.

Валера скептически хмыкнул – московская привычка не верить пафосу.

– А что, надо шептать? Время шептать прошло. Время кричать. Пока не заткнули.

И открыл дверь.

Студия встретила их полумраком и музыкой. Гитарные усилители, барабаны, синтезаторы – всё добытое через моряков и спекулянтов, всё ради звука.

Вячеслав Бутусов сидел у микрофона – худой, нервный, с глазами человека, который видит то, чего не видят другие. Перебирал струны гитары, каждая нота висела в воздухе.

Илья Кормильцев в углу писал что-то в блокноте – сосредоточенный, отрешённый, как монах над священным текстом. Поэт, для которого слова были способом выживания.

– Вячеслав! – Балабанов подошёл к Бутусову. – Гений! Позволь пожать руку творцу!

– Алексей? – Бутусов удивился. – Ты что здесь делаешь?

Отложил гитару – осторожно, как кладут спящего ребёнка.

– Снимаю. Точнее, пытаюсь. А вы, значит, новый альбом?

– Пытаемся, – Бутусов встал, размял затёкшие плечи. – Но что-то не идёт. Застряли на припеве.

– Дай послушать.

Бутусов взял гитару обратно. Настроился – не только гитару, но и себя. Взял несколько аккордов – минор переходил в мажор и обратно. Запел негромко, почти шёпотом:

– «Я сижу и смотрю в чужое небо с чужой земли…»

Голос дрожал – не от неуверенности, от эмоции. Это был крик души человека, потерявшего родину не географически – метафизически.

Балабанов слушал с закрытыми глазами. Музыка проникала в то место, где должна быть душа, – в пустоту, которая болит.

Потом открыл глаза:

– Гениально. Это же про всех нас. Мы все – на чужой земле. В чужой стране. Которая вроде наша, но уже не наша. Меняется быстрее, чем мы успеваем понять.

Кормильцев поднял голову от блокнота:

– Вот! – он встал, подошёл к ним. – Именно это я и хотел сказать! Чувство потерянности. Когда земля уходит из-под ног.

– Для кино бы подошло, – задумчиво произнёс Балабанов. – Для финальной сцены. Когда герой понимает, что дома больше нет. Что все дома – чужие.

Они стояли в полумраке студии – режиссёр, музыкант, поэт, два продюсера. Пять человек, которые через несколько лет изменят русскую культуру, хотя пока не знали об этом. Не знали, что через девять лет фильм «Брат» взорвёт рос-

сийский кинематограф, что Данила Багров станет героем поколения – не супермен, а обычный парень из провинции с пистолетом и совестью. Не знали, что музыка «Наутилуса» станет гимном девяностых, что их кассеты перепишут миллионы раз, пока магнитная лента не сотрётся до дыр.

Но что-то предчувствовали – кожей, нервами, тем шестым чувством, которое есть у всех, кто живёт на сломе эпох.

– Надо выпить за встречу! – предложил Сергей.

– Потом, – отмахнулся Балабанов. – Сначала работа. Вячеслав, сыграй ещё раз. С начала.

И Бутусов играл – раз за разом, каждый раз чуть иначе, искал идеальное звучание. А Балабанов слушал и видел кадры будущего фильма – чёрно-белые, зернистые. Питер, зима, парень идёт по Невскому, в плеере «Наутилус», в кармане пистолет, в душе пустота.

За окном студии садилось солнце, и пыль в воздухе становилась золотой, как будто кто-то рассыпал по комнате прах несбывшихся надежд – тех, что ещё сбудутся, и тех, что так и останутся пылью, потому что в этой стране надежды сбываются реже, чем хочется, но чаще, чем кажется, и никогда нельзя знать заранее, какая из них переживёт своего хозяина.

Глава 7. Наблюдатель

или Записки из-под шляпы с кокардой

Дождь шёл третий день – мелкий, противный, из тех, что не переждёшь под навесом и не перебежишь до подъезда. Он не кончался, он просто был, как было серое небо, как был этот город, как была вся эта жизнь, в которой ничего не менялось, только мокло и гнило.

Капитан Леонидов стоял под козырьком автобусной остановки напротив киностудии уже четвёртый час, и смотреть на него было больно – не оттого что он мок, плащ давно промок насквозь, а оттого что видно было, как человек превращается в функцию, как солдат становится мебелью, как живое делается неживым прямо на глазах. Ноги затекли ещё в первый час – сначала ступни, потом икры, теперь уже бёдра одеревенели, но он стоял, не мог уйти, не имел права уйти, в стране, где единственный выбор – служить или сдохнуть, а он выбрал служить и теперь расплачивался за этот выбор затёкшими ногами и мокрым плащом.

Спина ныла – старая контузия, Афган, семьдесят девятый, – и когда он машинально потирал поясницу, в этом жесте было что-то такое, от чего сжималось сердце. Жест, знакомый миллионам – матерям, жёнам, вдовам, – жест человека, сломанного на войне и забытого после неё. В Афгане он верил, что защищает Родину, – молодой лейтенант с горящими

глазами, из тех, кто первым идёт в атаку и последним уходит с позиции. Потом глаза погасли, как гаснут у всех, кто слишком долго смотрит на то, на что смотреть нельзя, – но он продолжал служить, не умел ничего другого, а переучиваться было поздно и страшно.

В руках – «Правда» трёхдневной давности, передовица кричала про перестройку. Он делал вид, что читает, а сам смотрел на дверь киностудии тем особенным взглядом, по нему сразу видно профессию. Взгляд сторожевой собаки, забытой без корма, но всё равно караулящей – не знает, как перестать.

В кармане лежал диктофон – японский, трофейный, отобранный у какого-то парня на таможне, получившего три года за двадцать таких же коробочек в барабане стиральной машины. Время от времени капитан доставал его, делал вид, что закуривает, и бормотал в микрофон, прикрываясь ладонью:

– 14:30. Объекты «Музыкант-1», «Музыкант-2» и «Режиссёр» вместе. Настроение приподнятое. Вероятно, обсуждают совместные проекты.

И в этих казённых словах было что-то жалкое и страшное одновременно – взрослый человек, прошедший войну, стоит под дождём и записывает на плёнку, что музыканты смеются, словно в этой стране смеяться уже стало преступлением, а радоваться жизни – изменой всему, что принято считать священным.

Из дверей киностудии вышли трое – Валера, Сергей и Балабанов, все объекты вместе, и капитан отметил это с облегчением: можно не разрываться, не выбирать, за кем следить. Они смеялись, о чём-то спорили, Сергей размахивал руками, Балабанов курил одну за другой, Валера что-то записывал в блокнот – обычная картина, творческие люди обсуждают планы. Ничего криминального, но капитан был обучен видеть криминал там, где его нет: если не находишь врагов – значит, плохо ищешь.

– Контакт явно налажен, – пробормотал он в диктофон, и даже ему самому эти слова показались идиотскими. Но записал – в отчёте должны быть выводы, а выводы должны быть тревожными, иначе зачем наблюдение, зачем он сам, зачем весь этот цирк с мокрым плащом и затёкшими ногами.

* * *

Троица попрощалась у входа – рукопожатия, похлопывания по плечу. Балабанов ушёл обратно в здание, Сергей уехал на синей «шестёрке» с визгом шин, а Валера пошёл пешком в сторону центра, спокойно, не торопясь. Капитан двинулся следом, выждав положенные тридцать секунд, как учили в школе КГБ в Новосибирске, сто часов теории, двести практики, главное правило – не выделяться, быть частью толпы.

Но какая толпа в три часа дня под дождём – проспект Ленина был пуст, редкие прохожие шли, втянув головы в плечи, и капитан понимал, что заметен, что выделяется своим

топтанием на месте, своим плащом, своей газетой, но продолжал идти, не умея отступать даже тогда, когда отступление было единственным разумным решением.

Валера шёл не спеша, разглядывая витрины – пустые полки «Гастронома № 1», резиновые сапоги в «Промтоварах», собрание сочинений Брежнева в «Книгах», – и в этой неспешности было что-то издевательское, словно он знал о слежке и нарочно тянул время.

У газетного киоска остановился, постучал по стеклу:

– «Московские новости» есть?

– Есть. Три рубля.

– Три рубля? За газету?

– Дефицит. Из Москвы везут. Хочешь – бери, не хочешь – иди.

Валера купил. Капитан машинально отметил в диктофоне: «Объект приобрёл экстремистскую прессу», – хотя сам понимал, что это бред, что «Московские новости» читает полстраны. Но в отчётах нужны страшные слова, иначе начальство спросит, зачем ты стоял четыре часа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.